

П. Н. КРАСНОВ

ПЕШЕХОДЫ

ПОВЕСТЬ

1947

„ЗЛАТОУСТ“

Русское Зарубежное Издательство

Милтон Штайн

П. Н. КРАСНОВ

ТЕРУНЕСЬ

ПОВЕСТЬ



1 9 4 7

ТЕРУНЕШЬ

Последний мул моего каравана, задев мешками из грубой парусины, висевшими у него с боков, за основную жердь плетневого забора, пролез в узкую калитку, и все мое имущество, основа будущего благосостояния собралось на небольшой площадке, поросшей высокой желтой травой. Посередине площадки стояла круглая хижина, сажени три в диаметре, сплетенная из хвороста и обмазанная грязной коричневой глиной. Хижина имела коническую крышу, из соломы «дурры», — растения с длинным камышеобразным стеблем. На вершине конуса помещался красный глиняный горшок и на нем деревянный четырехконечный крест, знак того, что усадьба принадлежала дворянину—Ато-Домисье*). Сам Домисье находился на службе при дворе раса Маконена в Хараре и свой аддис-абесский дом уступил мне во временное пользование за две штуки кумача. Отныне эта круглая хижина, с грязным земляным полом, в изобилии населенным мелкими черными блохами, становилась моим

*) Прибавление слов «ато» к имени равносильно французскому «де» или немецкому «фон».

домом и магазином. Камышевая рама, обтянутая воловьей шкурой с большими прорезами, и привязанная веревочными петлями к жердям, врытым в землю, заменяла дверь, а два оконца были затянуты грязными тряпками. Тем не менее это была не дурная относительно постройка, пригодная для моих целей.

Из дверей моего дворца видна была вся Аддис-Абеба, столица Эфиопской империи. Верстах в полтора, на запад, на вершине круглого холма белели каменные постройки Геби — дворца негуса Менелика — окруженные стеной; от них бежала темная дорога внутрь города, состоявшего из целого ряда усадеб, подобных моей и соединенных между собой узкими каменистыми тропинками. Кое-где, окруженные рощами смоковниц, бананов и лимонов, возвышались большие круглые крыши храмов, увенчанные вместо крестов звездами из крупных страусовых яиц. Большой длинный дом французского посланника на одном конце Аддис-Абебы и ряд палаток, с развевающимся над ними русским флагом посольского двора на другом, заканчивали обширный круг долины, занятой городом. Тропинки, ведущие от хижины к хижине, прерывались мутным потоком Хабана, шумевшим в глубокой промоине. Кое-где к потоку вели крутые спуски, усеянные большими камнями. Местами пейзаж скрашивался изумрудно-зеленой лужайкой, поросшей маленькими кустами различных пород. Весь город был окружен горами, подымавшими свои то круглые, то острые вершины к безоблачному синему небу. На север, на столообразной горе, словно черная тень, залегли многочисленные хижины древнего города Энтото.

Вечерело. Розовым сиянием подернулись вершины гор, и фиолетовые тени бежали от мулов, тюков, построек и деревьев. Резкий и пронзительный ветер становился холоднее и распахивая бе-

лые шамы*) погонщиков моих мулов и обнажая их худые темные торсы — заставлял спешить с работой.

Вскоре все тридцать тюков валялись в живописном беспорядке на дворе, мулы сбившись в кучу возле рогожи, на которую был насыпан «гепс»**), торопливо жевали, поводя красивыми длинными ушами и обмахиваясь хвостами от надоедливых мух, а погонщики разводили огонь и готовились печь на круглых сковородках «инжиру», — род хлеба, видом напоминающий наши масляничные блины, только громадной величины и черного цвета.

Тропическая ночь наступила быстро. Город, шумевший визгливыми нотами абиссинских песен и игр, барабанами и колоколами церквей, — умолк и, подле ограды, все чаще и чаще стал раздаваться противный визг шакалов. Перенеся при помощи моих слуг Алайу, Чуфы и Лифабечу свои вещи внутрь домика и устроив некоторое подобие ложа из свертков с мягким товаром, я зажег фонарь и при тусклом свете его отдался воспоминаниям...

Чьи это светлые глаза глядят на меня из глубины хижины? Красивые, синие, добрые любящие глаза. Это глаза моей Ани. Я вижу и слезы, которые дрожат в темных и длинных ресницах, как дрожали в тот мрачный день, когда я, Иван Семенович Андреев, покидал свою маленькую петербургскую квартиру. Я вижу и гостиную с круглым столом и высокой лампой на нем, с ящиками и тюками — вот этими самыми тюками, которые валяются здесь на соломе, — подогнутый ковер, простенький комод у стены и жену мою Аню, бесильно плачущую тихими слезами у окна.

*) Шама — большой полотняный четырехугольный плащ — главная одежда абиссинца.

**) Гепс — род ячменя, заменяющий в Абиссинии овес.

В окно чуть брезжит холодное петербургское утро; моросит мелкий дождь, и длинные струйки, что ползут по стеклу, мне кажутся продолжением ее слез.

— Аня, говорю я, еще не поздно. Если хочешь, — я не поеду.

Она отрывается от окна и падает мне на грудь. Я ловлю ее мокрые щеки, ее губы и целую ее. В этих поцелуях так много грусти и тоски.

— Нет, нет! Поезжай, если так надо. Поезжай... Я не хочу быть тебе помехой, поезжай...

— Аня! Мы в долгах. Здесь, в Петербурге, мы никогда из них не выпутаемся. И поверь, что быть представителем громадной фирмы для меня гораздо лучше, чем вести то ничтожное торговое дело, которое разорило нас... Но, повторяю тебе, если это тебе так тяжело — я не поеду... Еще не поздно!

— Христос с тобой, — говорит Аня и крестит меня. — Возвращайся только скорее и не забывай!..

Бедная Аня! Она всего год, как жена моя. Ее кроткий, тихий нрав столкнулся с моими мечтами о внезапном и необычном обогащении.

Я играл на бирже и проигрался; кредиторы готовы были описать мою бедную обстановку до последнего стула, — надежд на поправку не было, когда одна большая торговая фирма предложила мне отправиться с караваном мануфактурных и мелких металлических изделий в Абиссинию и попробовать насколько выгоден этот новый рынок для России. В случае прибыли я получал половину ее, не неся никаких расходов; убытка я не терпел. Такое предложение было для меня спасением, и я согласился.

О, эти дни прощания и упаковки товаров! Какую заботливость проявила Аня ко мне, заворачивая вещи и делая надписи дрожащею рукой. Вот и сейчас, роясь в переметных сумках, я нащупал мяг-

кий сверток и, вынув его, прочел — «башлык»... Она положила мне даже и башлык, так как слышала, что в Абиссинии в горах, бывает холодно.

Свеча дрожит в жестяном фонаре, и длинные тени бегут от ящиков и тюков, а углы хижины становятся темнее. Из углов глядят на меня дорожные лица моих родных, и в этом чужом для меня доме мне хорошо. Завтра застучит мой топор, и я устрою прилавок и шкафы, завтра штуки материй лягут на полках, а заманчивая вывеска на абиссинском языке будет приглашать желающих купить что-либо в новом магазине единоверца - Москова... И я сладко дремал, мечтая о будущем, голодный и усталый на жестких свертках. Иногда дремоту мою нарушал визг шакалов у самых дверей дома...

2.

Я стал совершенным абиссинцем. Сажусь на мула с правой стороны, ношу шаму, как они, ем инжиру, пью грязный вонючий тэч*), который мне приносят из соседней деревни женщины — галаски в больших глиняных гомбах**), заткнутых травой, наконец, болтаю, перемешивая абиссинские слова с русскими и все приправляя такой мимикой, какой позавидовал бы лучший артист балетной труппы Петербурга. Я третий месяц торгую в Аддис-Абебе. Два раза ездил в Харар пополнять запасы, и морозовские ткани у меня сменились индийскими шелками и английским полотном. Дела идут недурно, но до большой наживы еще далеко. В окна моей хижины вставлены стекла, глина обмазана мелом, хижина разбита на две половины—

*) Тэч—абиссинский хмельной напиток, приготовляемый из меда, с примесью листьев растения геча, подобного нашему хмелю по свойствам.

**) Гомба — глиняный кувшин, имеющий шапообразную форму и длинное горлышко.

магазин и спальня хозяина. Слуги мои одеты в белые рубашки и штаны и прекрасно мне помогают, а население города меня любит, потому что я «христианин - москов» одной с ними веры, хожу в их церковь, молюсь святому Георгию, пляшу вместе со священниками и пою псалмы. Два раза меня даже звали к епископу на чашку кофе. Я приехал на муле в обширный двор, обсаженный бананами с вымощенными плитняком дорожками. Меня проводили в большой круглый каменный дом аббуны. Аббуна в шелковой черной накидке, расшитой золотом, сидел на альге*), покрытой дорожками коврами и опирался на подушки. Он беседовал со мною о России и угощал ароматным тэчем, который подавался в зеленом стакане и ставился на пол передо мной. Кругом, сидя на коленях и оживленно шепчась, трапезовали священники, дьяконы и причт, басы, в высоких греческих черных шапках и белых плащах. Дом был наполнен запахом чеснока и пряным ароматом тэча.

Слуги аббуны в чистых длинных белых рубашках, согласно с обычаем, разносили маленькие стеклянные графинчики с узким горлышком и подавали их трапезующим. И они с восклицанием радости, высоко опрокидывая свои темные головы выпивали мутный темный напиток. Я говорил аббуне о братстве между русскими и абиссинцами, знакомил его с нашими церковными напевами. Я привык ко дню, вдруг начинающемуся в шесть часов утра, и также внезапно надвигающейся ночи, привык к жаре днем, когда отвесные лучи палят сквозь солому крыши, а в лавке становится душно и запах кумача делается особенно резким, — и холоду ночью, когда и под теплым одеялом дрогнешь. Вой и визг шакалов меня не тревожат больше. По

*) Альга — постель, образованная из деревянной рамы на ножках, обтянутой ремнями и накрытой коврами.

праздникам я балуюсь охотой, хожу с винтовкой стрелять диких гусей на Хабане, или ползаю по крутым скатам гор, в погоне за козами...

У дверей моего дома всегда сидит или лежит несколько абиссинцев. Они неделями присматриваются к товару, облюбовывают его, затем заходят в магазин, хвалят меня, расхваливают приглядевшуюся им вещь, спрашивают о цене, передают ее из рук в руки, чуть не облизывают и вдруг возвращают ее мне, объявляя мне, что вещь — „кефу“ — скверная и этой цены не стоит, причем предлагают мне отдать ее, назначая цену раз в двадцать ниже моей. Начинается торг с клятвами и божбой, и, не придя ни к какому результату, мы расстаемся почти врагами. Но это не мешает на другой день им снова явиться ко мне и, раскриковавши вещь набавить немного цену. Так длится иногда с неделю, но в конце концов вещь к обоюдному удовольствию продается. Отдать вещь без торга, это — лишить абиссинца лучшего удовольствия, да и сама вещь потеряет для него свою цену...

У меня есть и знакомые. Нередко ко мне заходят в гости полковники и генералы. Я угощаю их чаем с печеньем, и мы беседуем о политике. Два французских негодянта, мои конкуренты, тоже не брезгают моим хлебом-солью. Особенно толстяк Савурэ, десятый год торгующий в Аддис-Абебе, любит зайти ко мне поболтать. Время летит незаметно, капиталы приумножаются, а вместе с тем увеличиваются и шансы вернуться на родину. Дай-то Бог!..

3.

Однажды день выдался на редкость жаркий. Ни ветерка, ни струи какой-нибудь прохладной, чтобы облегчить изнемогающее тело. Савурэ и знатный абиссинец Ато-Абарра сидят у меня за прилавком, и мы допиваем третий самовар. Пот

льет с меня градом, мои гости тоже порядком упарились.

— Э-эх, москов! — дружелюбно хлопая меня по плечу, говорит сухой и темный, с красивой черной бородкой Абарра: — все хорошо у тебя, а только некому хозяйством твоим править. Тэчь у тебя плох, инжира суховата. Надо тебе жениться!

Это предложение приводит Савурэ в необыкновенный восторг.

Его полное лицо покрывается тысячей мелких морщин, а маленькие глазки совершенно сжимаются и становятся узкими и влажными.

— Мосье, мосье! — восклицает он захлебываясь: — *famme* малькам. Харош, очень харош *).

Ему вторит и Абарра. Оба они находят мое положение весьма комичным и Абарра начинает мне перечислять тысячи выгод, которые я буду иметь, если женюсь.

— Она будет печь инжиру... готовить тэчь, бранить слуг, считать кур, стирать белье, мазать глиной дом, толочь зерно, ткать пряжу, чистить ружья... она будет любить тебя...

— О-о-о-э, — взвизгивает Савурэ: — она будет любить тебя. Малькам! Очень харош!

— Ты возьмешь молодую абиссинку из хорошего дома и ты станешь совсем абиссинцем.

— Совершенным абиссинцем — повторяет Савурэ и протягивает к самовару свой допитый стакан.

Я наливаю ему и Абарра чаю, подливаю скверного пахучего английского рома, и мы на некоторое время погружаемся в молчаливое созерцание полных стаканов. В моей лавке температура становится невозможной, но на воздухе еще хуже, парит и ломит все кости от жары. Я ложусь на скамье, покрытой шкурой леопарда, моему примеру следуют и гости. Ром, которого в избытке хватил Абарра

*) Малькам—значит—хорошо — по-абиссински.

клонит его ко сну, и он клюет носом, Савурэ мурлычит какую-то песню по-французски, а я размышляю... Абиссинки и галаски, все те женщины, которых я видел на пути от Харара до Аддис-Абебы, сомалийки и данакили пустыни мелькают предо мной, то полными обнаженными черными, как эбеновое дерево, торсами, то худыми костистыми плечами, выдающимися из-под грязных тряпок, то пестрыми платками и шалями, бусами и кольцами, и темными выразительными глазами. Сквозь эту вереницу черных и коричневых лиц встает на секунду бледное грустное личико моей Ани, с простыми синими глазами, в которых светится безысходная тоска и грусть, встает и заслоняется туманной дымкой пространства: морей, рек и гор, отделяющих меня от России. Я пытаюсь возобновить в памяти все те хребты, которые мне пришлось перевалить, и путаюсь в самом начале. И снова темные женщины окружают меня.

Я смотрю на дремлющего Савурэ, на спящего во-сю Абарра, смотрю на свою лавку, на просторную комнату сзади нее, и мне начинает казаться, что жениться на абиссинке было бы недурно. Я гоню эту мысль, но она не уходит от меня, и я не могу уже от нее отделаться.

4.

Была суббота. На аддис-абебском базаре — „габайе“, собралось тысяч до пяти народа. На обширном склоне холма, вершина которого была занята магазинами негуса, окруженными частоколом, торговцы и торговки разложили свой товар. На вышке сидел начальник, „шум“ базара, и наблюдал за порядком. Оставив мула внизу у моего приятеля Савурэ, я вдвоем со слугою толкался среди темной толпы, покрывавшей площадь. Торговцы разложили свой товар прямо на земле. Тут были и громадные груды готовых блинов инжир, нало-

женные на круглые соломенные корзиночки, и красный перец, натолченный мелким порошком, и зерна дурры и мука и куски каменной соли, обточенной брусками и употребляемой вместо денег, и пузатые гомбы с тэчем и листья хмельного „геша“ и головки чеснока и доски толщиной в 4 дюйма, и жерди, и бамбук, и сахарный тростник, солома, и ячмень, и даже верблюжий помет, употребляемый вместо топлива. Тут продавали мулов, и покупатели катались на них взад и вперед, пробуя их проезд или с криками пуская вскачь. Там кавалеристы в белых плащах, размахивая ногами и хлопая локтями, скакали, выхваляя силу и резвость своих коней. Крик, гомон, споры, абиссинская речь, перемешанная с гортанным говором галасов, криками сомалей-полипейских, прогуливающих среди толпы, в синих итальянских плащах, и возгласами худых скелетообразных данакилей, разлегшихся возле каравана верблюдов, вытянувших свои морды, наполняли площадь.

Геразмач, тысяченачальник, предшествуемый двумя слугами, из которых один нес его двустольное ружье, а другой — раззолоченный узорчатый круглый щит, едет на муле в богатом наборе и помахивает над головами расступающейся толпы тонкой жердью. Над черными курчавыми волосами его поднимаются золотистые пряди львиной гривы, огненным венцом окружающей лоб и придающей ему дикий, но красивый вид; пестрый боевой плащ и леопардовая шкура мотаются по плечам его, поверх белоснежной шамы и белой тонкой рубашки, стянутой красным шагрeneвым патронташем. Седло накрыто богатым суконным чепраком, расшитым разноцветными шелками. Сзади него бежит босоногая толпа ашкеро́в, в грязно-белых рубашках, с кожаными патронташами на поясе и ружьями на плечах. Толпа расступается перед ним, иные кланяются, иные спешат очистить дорогу...

Священник в маленькой шапочке и с хитрым

плутоватым лицом пробирается между корзинок с инжерой, казак нашего посольства в громадном шлеме, со звездой и отличием на нем, с малиновыми погонями на белой рубашке, о чем-то спорит с продавцом гепса. Итальянский солдат в пестрой зеленоватой чалме, и синем суконном плаще с черным лицом, проходит, тревожно озираясь на мальчишек, преследующих его криками: „али“, „али“*). Вдруг среди этой толпы показалась женщина... Их было много здесь молодых и старых, продавщиц и покупательниц, но эта обратила мое особенное внимание. Она была очень молода и красива. Темное, почти черное лицо ее с короткими, густыми курчавыми волосами, блистало такой молодостью, наивностью и правильностью черт, что невольно влекло к себе. Большие, карие глаза сверкали из-под густых ресниц какою-то тревогою. Ноздри прямого и тонкого еврейского носа, не слишком большого и правильного, были раздуты, а тонкие, красиво очерченные губы то и дело змеились улыбкой.

В длинной белой рубахе, свободно падавшей многими складками к ногам и перевязанной у пояса веревкой, с босыми ногами и полными обнаженными руками, она сидела по-мужски на седле, вложив большие пальцы маленьких ног в круглые кольца стремян. Два ашкера верхом на мулах, с ружьями на правом плече провожали ее.

Она казалась мне бронзовой альмеей, соскочившей с витрины изящного парижского магазина. Все в ней было так красиво, так изящно, так полно воинственного, абиссинского благородства, что не заглядеться на нее нельзя было. И я пошел за ней, любуясь ее свободной посадкой, гибким станом и красивым изгибом темной изящной шеи. Она

*) „Али“ — бранная кличка в Абиссинии. Переделана из слова *itali* — итальянец, после войны с Италией 1895 года,

обернулась и посмотрела на меня. Сердце мое забилось. Что думает она обо мне? Но темные глаза с коричневатыми белками светились лаской и приветом, и, казалось манили меня за собою. Я был русский разночинец, а она, повидимому, дочь знатного абиссинца, но что из этого — в эту минуту я знал и помнил лишь одно, что я белый, а она черная, а потому сословных перегородок между нами не существовало! И я пошел за ней. Но удар по плечу остановил меня. Я не так испугался, как рассердился. Передо мною стоял Ато-Абарра. Почтенный Абарра выпил много тэча, а потому отяжелел и его тонкие, стройные военные ноги, плохо ему повиновались.

— Самой гета, куда ты? *)

— Куда?! Кто эта девушка?

— Девушка? — Абарра прищурился, приложил ладонь к глазам козырьком, и всмотрелся в проезжавшую. — А хороша?

— Ты ее знаешь?

— Еще бы! — он подмигнул мне, и все его хитрое пьяное лицо расплылось в слащавую улыбку. Вот тебе и жена!

— Жена. Возможно ли? — воскликнул я. — Жена! Да ты знаешь ее, что ли?

— Мынну! Что за вопросы?! Конечно, знаю. Дочь баламбараса Машиша — Терунешь **).

И он, припрыгивая, побежал так легко, как только умеют бегать абиссинцы, остановил девушку и, прикладывая руки к груди и закрывая рот шамою, говорил с ней, делая мне знаки подойти. Я подошел и сконфузился. Я, большой белый москов, сконфузился перед маленькой абиссинской

*) „Самой гета“ — обращение в роде нашего: „эй, почтенный“.

**) Терунешь — в переводе значит „чистенькая“ — обыкновенное женское имя.

девушкой. Теперь разглядев ее поближе, я увидел, что ей было не больше четырнадцати лет.

— Дэхна-ну, — сказал я, кланяясь и протягивая руку.

— Дэхна-ну, — ответила она на приветствие и протянула мне свою маленькую ручку.

О, милое создание! Ее пожатие, слабое и детское, ее вдруг потемневшее от смятения лицо, были так милы, что мне безумно захотелось взять к себе в дом эту малютку, разложить перед ней свои шелки и бархаты, одарить как парицу, и в царской роскоши холить и беречь ее многие годы.

Терунешь, — говорил пьяный Абарра: — гета *) москов на тебе жениться хочет.

— Ойя гут, — воскликнула девушка и лицо ее стало совсем черным от краски, залившей ее щеки, — старый Абарра все говорит глупости.

И она пустила круглый плетеный повод своего мула. Он затоптал тонкими ножками по красной пыльной тропинке, и коричневая красавица исчезла в пурпуре пыли, озаренной ярким солнцем, на золотистом фоне соломы полей и ярких лучей, а я остался рядом с Абаррой, вдали от шумного габайи и своего мула.

— Сосватаю! Клянусь святым Георгисом, сосватаю Иоханнеса-москова с Терунешь. Что дашь за свадьбу? Хочешь — пятьдесят талеров баламбарасу Машише и сабельный клинок ему же, а мне десять талеров и маленький ножик с двумя лезвиями. Идет, что ли? Ой, недорого. Потому недорого, что москов — христианин и друг Габеша... А Терунешь славная девушка. Я ее давно знаю. Она умеет готовить тэчь, хорошо пьет. Она еще не была замужем. Ой, москов, не прогадаешь.

*) Гета — господин. Ойя гут — восклицание, в роде нашего: „скажете, пожалуйста!“

Я не отвечал словоохотливому Ато, расточавшему похвалы моей нареченной: мне было не до того.

Смутное личико Терунешь, с миндалевидными глазами и темными ресницами заслонило бледный образ Ани, с ее простенькими глазками, и я забыл ее северную, холодную улыбку под жгучим небом Африки.

5.

Не прошло и недели, как я был уже женат на Терунешь. Это случилось очень просто. На другой же день после встречи, ко мне в лавку зашел Абарра вместе с Машишой. Машипа залюбовался маленьким перламутровым ножичком со многими лезвиями и, как все абиссинцы, стал прицениваться к нему.

— Подари его баламбарасу, — шепнул мне на ухо Абарра.

Я последовал его совету, и мой ножик исчез в рукаве Машипы...

— Вот что, Машипа, — сказал Абарра полушопотом своему приятелю: твоя дочь Терунешь приглянулась гета москову, он хочет на ней жениться.

Машипа принял гордое и надменное выражение.

— Если гета москов даст мне всю свою лавку, двести талеров и пять хороших мулов — я и тогда не отдам свою Терунешь за али. К тому же он нагадий (купец), а дочери солдата неудобно быть замужем за купцом.

И он гордо, словно римский сенатор, задрапировался в свою шаму, и, опустив красивую голову с седыми курчавыми волосами, закрыл подбородок углом шамы.

Мое сердце упало. Милая улыбка Терунешь не выходила у меня из головы. После такого категорического отказа, мне и думать нельзя было о браке. Но Абарра думал иначе.

— Полно гета, — тихо и вкрадчиво заговорил он: — Иоханнес, — не подлая итальянская собака, за которой действительно зазорно быть замужем благородной абиссинке. Иоханнес — москов, брат тех славных москотов, которые укротили наших лошадей, и друг их святых хакимов (врачей). Москов христианин и верит так же, как и мы. Он чтит святого Георгиса, молится в наших церквах, а аббуна Петрос во время своих наездов из Анкобера не брезгает беседой с умным московом...

Машиша слушал молча и казалось, что-то соображал. Абарра же продолжал свою трескучую речь так быстро, что я едва успевал следить за ним и понимать его слова.

— Терунешь здесь будет хорошо. Иоханнес будет баловать ее, если ты только не оберешь его до последней нитки. Иоханнес даст тебе пятьдесят талеров и хороший клинок. Он женится, чтобы навсегда распрощаться с холодной Московской и стать совсем, как мы. Посмотри, еще негус отличит его, и он станет совсем *monsieur* Ильг,*) первым лицом после негуса. Разве худо было у Ильга его жене?

— Да, ей жилось хорошо, пока Ильг не съездил к французам и не привез себе белую жену.

— Э, друг мой, что загадывать! Девушка уже в годах. Ей пятнадцать лет. Хуже будет, если какой-нибудь простой ашкер украдет ее и обвенчается у аббы. Тогда и денег он тебе не даст и брака ты не расторгнешь!

Это убеждение, казалось, поколебало решимость Машиши, и лицо его стало менее угрюмо.

— Надо спросить у самой Терунешь. Хочет она идти за москова?

— Хорошо, спросим. А теперь выпьем-ка мос-

*) *Monsieur* Ильг, швейцарец, двадцать с лишним лет живущий в Абиссинии — первый министр Менелика.

ковского чаю, да араки (водки). Посмотри, как живет Иоханнес. Я бы худого для твоей дочери не посоветывал.

Горячий чай, который подавал нам в жестяных стаканах Лифабечу, варенье, леденцы, а главное ром и водка склонили Машишу в мою пользу. — Я вижу, — сказал он, — что Москов хороший человек, но так дешево я не отдам за него свою дочь.

Абарра начал торговаться, как торговался он из-за штуки материи, фунта сахара или старой шапки. Машиша сбавлял цену за свою Терунешь, но в это воскресенье они так ни на чем и не решились и ушли, покачиваясь и поддерживая друг друга.

На другой день рано утром ко мне пришел Абарра и сказал, что если я набавлю два ружья, то Машиша согласен отдать за меня дочь.

После этого приступили к свадьбе. Явились ко мне гости, «шум» квартала, в котором я жил, один тысяченачальник — кенъазмач в темном плаще, какие-то старики, несколько ашкеро́в из гвардии царицы Таиту, выпили массу тэча, поели несметное количество инжиры; мне пришлось по уговору Абарры зарезать двух баранов, при чем старики чуть не подрались из-за шкур. Машиша и Абарра напились почти до бесчувствия, и наконец, к закату солнца разошлись, а старуха — мать Терунешь — привела ко мне невесту. К ее приходу я приготовил ей подарки, бусы, шелки, кусок атласа и бархата. Она не верила своим глазам.

— Это ты все мне! — говорила она с блестящим от восторга лицом: — Мне! Какой ты добрый! И она кидалась целовать мои руки. Я насилу заставил ее подняться и поцеловал ее нежные, как шелк, щеки и губы. Она опять почернела, видимо конфузясь, и перед зеркалом стала навешивать на себя бусы и ленты. Она не могла сдержать своего восторга, смеялась, как маленькая девочка, и, как ребенок, хлопала в ладоши. Ее радость доставляла

мне искреннее удовольствие. Потом она подошла ко мне, стала на колени и поцеловала мои сапоги. Я насилу поднял ее, посадил подле себя и, как умел, стал объяснять ей, что теперь она моя жена, что она совершенно равна мне, что она будет обедать вместе со мной, что она моя помощница, мой друг, моя жена... Но все это видимо плохо укладывалось в маленькой курчавой головке, и после моей речи она низко поклонилась мне и тихо, тихо произнесла:

—Гэта—я раба твоя!

—Ну, пусть будет так!—воскликнул я, искренно любуясь молодою женой своей. Пусть так — ты моя раба, а я твой раб.

6

Я был влюблен в свою малютку-жену: она тоже очень привязалась ко мне. Когда я по утрам сидел в своем магазине и беседовал с покупателями, она в соседней комнате отдавала распоряжения слугам и ее, казалось, тешила возможность заказывать обед, кормить кур, баранов и мулов. Она сама ездила на габайю, прикрыв лицо до самых глаз шелковым платком, и когда она возвращалась, я видел только ее весело смеющиеся карие глазки. Она легко спрыгивала с мула, и скинув платок, радостная бросалась мне на шею и покрывала меня поцелуями. Потом, отойдя от меня на шаг, она испытующе смотрела на меня своими глазами и тихо говорила: «Гэта, — я тебя ничем не рассердила?»—и покорно целовала мою руку.

Она училась говорить по-русски. А как забавно она картавила — совсем, как француженка. Я любил слушать ее, как она твердила слова за стенкой, заучивала целые фразы, чтобы порадовать меня. Она жила только мною. Вне меня для нее не было никаких интересов. Если я скучал, и она скучала и робко смотрела на меня, или брала

инструмент, напоминающий бандуру, и перебирая струны, пела песню без мотива, без слов. Но стоило мне улыбнуться, и она кидалась ко мне, садилась у моих ног, опиралась на мои колени и, ласково глядя мне в лицо и перебирая мои пальцы, певучим голосом рассказывала мне, как она меня любит.

—Без тебя для меня нет ни света, ни солнца. Ты пришел, ты увидел и ты взял маленькую Терунешь, чтобы ее не отдать. Да, никогда? Ты разлюбишь, ты бросишь свою девочку, и солнце не станет светить для нее, трава не будет зеленой, и цветы не покроют кусты, растущие по горам, и маленькая Терунешь умрет!

Ея карие глаза становились совсем черными от печали, между бровей ложилась длинная складка, а маленькие губы надувались, как у капризного ребенка.

—Умрет,—тихо говорила она:—и ее положат на кипарисовые носилки и завернут в шаму с красной полосой, чтобы все знали, что она дворянка и дочь храброго офицера. На паперти церкви святой Мариам будут выть и плясать галаски, старые нищие и колодники будут жалобно ныть на каменных ступенях церкви, а добрые люди будут идти и креститься за маленькую Терунешь, которую бросил ее нехороший гета... Потом ее снесут за город и положат под землю, и место, куда ляжет ее голова, обозначат высоким камнем, и кругом положат камни. И Терунешь будет лежать там, одна в пустыне, и шакалы будут визжать над ее могилой, и гиена будет проходить над ее маленьким телом, громко ухать и скрестить песок своими могучими лапами... Гета, но ты не сердись на меня? Ты любишь меня?

Ко мне заглядывал иногда ее отец баламба-рас Машиша, пил у меня чай с ромом, спрашивал доволен ли я его дочерью, хорошо ли она мне

угождает, выпрашивал какую-нибудь мелочь и уходил.

Я любил Терунеш, как любят преданную собаку... Любил за то, что она меня так любила. С нею весело коротались тропические вечера, когда при свете лампы я обучал ее писать и читать по-русски, или рассказывал, какие дома в России, какие дворцы и храмы, какие темные леса, какой белый снег и морозы—и она то пугливо жалась ко мне, прислушиваясь к жалобному визгу шакалов, то смотрела на меня восхищенными глазами и спрашивала: «Гэта, почему, почему ты не вернешься в Россию?!»

—Чтобы вернуться туда, нужно много, много денег.

—О, мы наберем много денег! Я хочу чтобы ты был у себя. Я хочу, чтобы тебе было так же хорошо, как мне теперь. Ты должен жить в самом большом доме в Петербурге и сам московский негус будет жаловать тебя...

Потом она погружалась в математические соображения, и маленький лоб ее морщился от напряжения.

—Зачем ты продаешь шамы по полтора талера? — вдруг спрашивала она меня. — Абиссинцы охотно дадут два. У *monsieur* Савурэ они стоят два талера и соль. Не надо так уступать и быть таким податливым. Абиссинцы любят торговаться. А если ты хороший купец—ты должен дорожить товаром, мы разбогатеет и поедем к тебе. И ты тогда не будешь больше печальный и не будешь искать тех семи звезд, что горят над горами, и про которые ты говорил, что они покровительствуют земле московов... Тоже и за сахар надо брать один талер, а не три соли. Всюду берут талер... А ножи... Да за ножи всегда дадут три талера, что бы они не говорили. Пусть бранятся. Ножи всякому нужны и всякий охотно заплатит за нож... Дай,

я буду торговать... О, дай только! Я тебе скоро соберу столько денег, столько, что ты вернешься к себе. И тебе будет хорошо и мне будет не худо. Правда? Дома ты больше будешь любить меня?

И она гладила своей маленькой ладонью мою руку и смотрела на меня восхищенными глазами. Бедняжка! В своих заботах о моем скорейшем возвращении, она не подозревала, что действует против самой себя. Она не знала, что из-за семи звезд Большой Медведицы, которая каждую ночь показывается над горами у Шола, на меня глядит родина...

—Гета, — тихо и робко, так, что я едва могу разобрать ее слова, говорит мне Терунешь — Ты не сердись? Ты чем-то недоволен? Я по глазам твоим это вижу! Ты недоволен мною. Прости меня, гета!...

Но я ничего не ответил маленькой Терунешь, только перекрестил ее хорошенькую голову, поцеловал в лоб и послал спать...

7.

Наступило тропическое лето, а с ним прекратилась и наша спокойная, безмятежная жизнь. Уже в июне загремел в горах первый гром, блеснула яркая молния, зажгла где-то в верхах степной пожар, и тотчас же оглушительный удар перекатился над самыми головами. Маленькие невинные облачка, бродившие над холмами, вдруг почернели, сгустились, солнечный свет померк, и гроза надвинулась. Какая гроза! Мелкий дождь вдруг обратился в стремительный ливень. Вместо отдельных капель были видны лишь длинные струи воды, падавшие на землю. С гор побежали ручьи, а тихая скромная Хабана заревела клокочущим потоком. Сухая, растрескавшаяся почва вдруг поползла, за-

ливая трещины, нагибая остатки соломы. Всюду бежали потоки, тропинки обратились в ручьи. Крыша начала промокать, и я со слугами стал наводить на нее снаружи палаточный холст. Стремительный ветер свистал в ущельях гор, стонал в веревках палатки, завывал в оконной раме моей хижины. Ураган и гроза продолжались около часа, потом ветер стих, ливень обратился в ровный, методичный и крупный дождь. Горизонт чуть прояснялся. Но молния все еще разрезывала необычайно резкими и крупными зигзагами небо, и гром ревел в ущельях гор. Наступила ночь, а дождь все шумел по холсту на моей крыше и на дворе журчали потоки воды. Только к полуночи он утих, небо очистилось от облаков, и полная и чистая луна стала глядеть среди звезд.

Утро настало ясное, розовое, Солнце, выкашив свой огромный шар и перекинув лучи через горы, стало печь вдвое сильнее, чем прежде, стараясь загладить изъяны вчерашнего дня. Земля просохла, но трещины остались залитые глинистым красным черноземом, а мутная Хабана унесла куда-то потоки воды и снова стала тихой и покорной. Однако, я, по совету Терунешь, окопал забор своей усадьбы широкой канавой и начал окапывать и дом. И не напрасно. С полудня уже маленькие облачка показались на небе, а в три часа ураган свирепствовал по-вчерашнему. Моя канава наполнилась глиной, по двору текли потоки воды, а мутная Хабана редела и пенилась. К вечеру ливень обратился снова в сплошной поток и продолжался с небольшими перерывами несколько дней. Омытая ливнем, неузнаваемо изменилась мелкая илистая зеленая трава, сменившаяся из золотисто-желтого, соломенного цвета, изумрудно-зеленым.

Но вместе с тем пути сообщения становились хуже и хуже. Мулы скользили, вязли и падали на липком и скользком черноземе, подвоз товаров

из Харара прекратился, и мы с Савурэ и армянским Захарием подняли цены. Мои капиталы стали быстро расти.

Терунешь привязалась ко мне еще больше, но, странное дело, чем больше она меня любила, тем холоднее становился я к ней. Раньше, пока не наступил период дождей, я ее реже видел. Я ходил на охоту, бывал у Абарра, у конвойных казаков, у повара посланника, и видел ее только в те минуты, когда хотел ее видеть и ласкать. Теперь она всегда была при мне, и то, чего я прежде не замечал, начинало раздражать меня. Иногда мне слышался запах чеснока в моем доме и я знал, что это означало, что у нее были подруги. Целые дни мы просиживали вместе, прислушиваясь к шуму дождя бок-о-бок, и она читала по складам русские книги, а я все продолжал заниматься своими торговыми делами.

По вечерам Терунешь помогала мне считать деньги. Она подолгу смотрела на талеры, раскладывая их кучками по двадцать штук на столе.

— Три тысячи,—говорила она мне, восхищенно хлопая в ладоши: — три тысячи двести двадцать два, и еще есть соли!... — хорошо!... Не грусти—мы скоро уедем отсюда, и тебе будет хорошо.

Я пожимал ей руку, но мое сердце молчало, и я искал и не находил ни слова сочувствия, ни тени любви к моей маленькой Терунешь. Любовь, так быстро захватившая меня, так же быстро и сгорела, и вместо яркого пламени страсти, остался лишь холодный пепел, под которым разгоралась угасшая было любовь к моей русской, родной Ане...

— Сколько нужно талеров, чтобы доехать до Петербурга? Три тысячи—мало?... Ну, а пять тысяч? Я думаю, что пяти тысяч достаточно—это ведь очень много! Мы поедем на своих мулах. Мой отец даст нам своих до Харара, и его солдаты проводят нас... А как ты обрадуешься, когда снова уви-

дишь море, высокие дома, и своих московов... И я тогда буду счастлива, еще счастливей, чем сейчас.

И я хмурился и молчал, думая о том, что настанет, и скоро, тот день, когда я прощусь с нею, и убью ее навеки, оставляю здесь с разбитым сердцем, с навсегда загубленной жизнью. И,—стыдно сознаться, я искал случая, чтобы придраться к ней, искал в ней недостатков, но чем более я бранил и сердился на нее, тем ласковей становилась она и больше любила...

Это приводило меня в отчаяние, и я все откладывал роковую развязку...

8.

Я помню, как сейчас, этот день. Лето прошло. Ливни прекратились. Стояла роскошная тропическая осень. Травы были в рост человека, чудные цветы цвели и благоухали между ними. Теру-нень приносила мне целые букеты и гирляндами украшала мою хижину. В ее глазах светился какой-то особенный огонек, и мне нечего было долго догадываться: она была матерью... Матерью моего ребенка. В один из таких дней неожиданно приехав Захарыч,—немолодой донец, курьер нашего посольства. Не спеша он вошел в комнату, с лицом, на котором так и читалось недовольство за то, что поехал в такую даль, он подал мне свою заскорузлую руку, потом потянулся и вытащил из-за пазухи конверт. Это было письмо ко мне, от моей Ани.

Она писала на-авось. Все письмо было проникнуто любовью ко мне. Она ни на минуту не переставала думать обо мне, любить меня. «Приезжай скорее, — писала она в заключение, — ты пошлешь мне телеграмму о дне твоего приезда и я встречу тебя на борту парохода. Приезжай, мой венаглядный!»

Я плясал и прыгал по хижине к великому удивлению Захарыча и смеху Лифабечу и двух—трех покупателей, находившихся в магазине.

— Что ты, с ума спятил?—сурово остановил меня Захарыч.

— Домой, Захарыч, ты пойми, я еду домой... когда?... Сегодня, завтра, как можно скорее.

— От кого письмо-то? — по-прежнему сурово буркнул Захарыч.

— От жены.

— От жены?... А эта как же?... Не хорошо,— и Захарыч кивнул головой на входившую в это время Терунешь.

Кровь бросилась мне в голову. Эта?!—я и не подумал. Неужели эта? Эта маленькая коричневая абиссинка может стать мне поперек пути... Она может разлучить меня с Аней... омрачить мое счастье в России? Да никогда! Для Ани я выброшу ее вон, я уничтожу ее, как уничтожил в сердце своем, как перестал любить... Она противна мне со своими розовыми пятками и ладонями. Ее тонкие, страстные губы меня злят, а этот нос с раздувающимися ноздрями, это рабское покорное выражение всего лица... О, если только она слово скажет протеста!... Если она посмеет хоть подумать разлучить меня с Аней!—Лучше бы ей никогда не видеть этого подлого, безоблачного неба, этих желтых гор и зеленых долин!

Мы напились с Захарычем чаю и она прислуживала нам, а я не обращал на нее внимания, смотря на нее, как на Лифабечу или когонибудь из слуг.

Терунешь ходила, как виноватая, тихо и робко смотря мне в глаза и не зная, как угодить. Захарыч ушел, я возился в лавке: мне не хотелось остаться с глазу на глаз с моею второй женой. Но идти было нужно. Она сидела в углу комнаты на ящике, накрытом цыновкой, охватив руками колени и поникнув головой. Она давно так

сидела. Я вошел и, не обращая на нее внимания, стал возиться в углу.

— Гета,—тихо окликнула она меня.

— Мынну (что такое)? — сурово отозвался я.

— Гета, ты сердит на что-то? Маленькая Терунешь прогневила тебя? Прости меня, гета.

Я не сердит на Терунешь,—сурово сказал я, не глядя на нее.

— Нет... ты обманываешь меня. Ты получил бумагу из Московии и ты ей обрадовался.

— Тебе какое дело?

— Я жена твоя, гета. Я твоя рабыня... Я люблю тебя, гета.

— Нет!—воскликнул я и внезапно почувствовал, как страшный приступ гнева охватил меня...

—Нет! Ты не жена мне. Кто нас венчал? Скажи... У меня есть другая жена! Там, на Руси... а ты... тебя я не люблю и не хочу... и мне не надо тебя!... Мынну? Ты меня любишь! Да я-то! Пойми: я тебя не люблю...

Она сидела, подавленная горем, и по мере моих слов все ниже и ниже склонялась. Я замолчал, и вдруг она встала, кинулась на колени и, простирая ко мне руки, поползла ко мне.

— Гета, возьми меня с собою к московам. Я никому не скажу, что я твоя жена. Я буду твоей рабыней, рабыней твоей... твоей жены!... — и она зарыдала.

— Нет, Терунешь,—холодно сказал я:—Этого никогда не будет. Ты вернешься к своему отцу завтра. Я подарю тебе сто талеров, и ты забудешь меня.

— Я забуду тебя!.. Нет, Гета... Я умру... и сто талеров мне не нужно. Я не за деньги тебя любила...

Она замолчала, будто что-то соображала. Вдруг вскочила, как иступленная, и дико закричала, поднимая руки вверх.

— А! Гета?... Нет... Этого не будет... У нас

есть Менелик, царь-царей! Он нас рассудит... Я твоя! У меня будет твой ребенок!—Я была тебе верной женой... Ты не бросишь меня... Нет... Нет... Я... пойду... я скажу... я... я попрошу...

Она забилась на полу в нервной истерике.

Я холодно пожал плечами и вышел на улицу. Что мог я сделать!? Я не любил ее больше, меня звала моя Аня...

И я смотрел, смотрел на темное небо, на яркие звезды и думал о счастье вернуться домой.

9

Все эти дни Терунешь ходила, как помешанная. Иногда ею овладевало чувство сильного беспокойства, она седлала себе мула, выезжала и сейчас же возвращалась домой, но чаще она сидела в углу комнаты, неподвижная и задумчивая. Если я был в хижине, она смотрела на меня с тихой мольбой. Я распродал и выменивал оставшиеся у меня товары, делал ящики, покупал мулов для обратного пути. Я считал дни...

Наступил осенний праздник св. Георгия. В большой каменной церкви должно было быть в этот день торжественное богослужение в присутствии двора и негуса. Терунешь с утра умывалась и причесывалась; она одела свою лучшую тонкую шелковую рубашку, перекинула через плечо шаму с широкой красной полосой, повязала голову пестрым платком, надела на шею бусы и монисто и пешком пошла через Хабану на церковную площадь. Дав отойти ей подальше, я последовал за нею, стараясь держаться в стороне и не попадаться ей на глаза. Я боялся ее решимости, боялся негуса полновластного владельца Эфиопии, наконец, боялся мести ее родственников. Чувство это было гадкое, подлое, гнусное. Мне хотелось удрать от нее, положить между нею и мною бесконечное

пространство, массивные горы, дремучие леса и океан. Там, в России, я мог быть спокоен за себя, а здесь я волновался. Терунешь шла легкими шагами, осторожно перепрыгивала с камня на камень, между струями мутной Хабаны; голова ее была опущена, она прикрывала лицо свое углом шамы до самых глаз и не оглядывалась.

Меня обгоняли абиссинцы, торопившиеся на праздник. С шумом продолжал отряд солдат в чистых белых рубашках и шамах с ружьями на плечах, со звериными и бараньими шкурами на спине, за ними на большом широком статном муле, с роскошной, украшенной серебромки золотом, уздой и нагрудником, с расшитым шелками седлом, со щитом, обитым золотом на правой руке, ехал, молодой человек, с красивым умным лицом и маленькой раздвоенной черной бородкой — это был рас Микаэль, родственник негуса. Львиная грива моталась над его лбом, а золотистая шкура льва падала блестящими складками с его плеч. За ним, в черной атласной накидке, на сером муле, с ружьем за плечами рысил старик — его адъютант и оруженосец. А сзади опять толпа ашкеро́в с говором бежала за своим начальником, торопясь к храму. В стороне от тропинки, на желтом фоне выгоревшей степи, видны были скачущие фигуры кавалеристов; еще дальше в черной широкой шляпе и черном плаще торопливой ходой на муле спускался начальник полиции и военный губернатор Аддис-Абебы — Аза Гезау.

Чем ближе к церкви, тем больше становилось народу. На широкой пыльной дороге толпились худые, изморо́нные, вбóеннопленные галасы, удалявшие камни с пути Менелика. Сама площадь была запружена тысячной толпой. Море черных голов колыхалось на белом фоне плащей и рубашек. Сверкнет между ними ружейный ствол или золотое шитье офицерского пестрого лемпта, и опять головы и головы. И среди них, у самой до-

роги я увидел маленькую головку Терунешь, и мое сердце шибко забилося, и я почувствовал себя таким незащищенным среди массы чуждых мне людей. Удрать бы!

Но любопытство, желание знать, что предпримет Терунешь, заставило меня оставаться на месте. Народ все прибывал. Из церкви медленно и протяжно неслись удары благовеста, на паперти видна была статная фигура Аббуны Матеоса, в полном облачении, с узорчатым квадратным золотым абиссинским крестом в руках. Кругом сверкали серебром, цветным атласом и шелком—боевые плащи геразмачей и канъазмачей, пестрые леопардовые шкуры, шкуры черных пантер, темные мундиры посланников, красные и голубые мундиры и мохнатые шапки наших казаков. Ждали негуса..... В толпе был слышен тихий ропот, все теснились ближе к церкви, откуда несяся аромат ладана. Люди давили друг друга, потели, дышали чесноком и шептались. Вдали раздались частые и пронзительные крики: а-ля-ля-ля-ля! Негус показался за рекой. Толпа его ашкеро́в, с ружьями, окутанными красным кумачом, конные солдаты, солдаты на мулах, звонко щелкая длинными палками по затылкам, разгоняли народ. Народ расступался и преклонял колени. Иногда среди криков покорности звучали резкие возгласы: «Абъет, абъет!»*), но непокорного умирляли палки, толпа ашкеро́в затира́ла его, и негус ехал между шпалер коленопреклоненных людей. На нем была серая фетровая шляпа с широкими полями, парчевый лемпт, подарок Русского царя, спускался с плеч, впереди его мула несли громадный серебряный щит с эмалевым русским гербом, а на правом боку негуса висела шашка в ножнах, усеянных бриллиантами. Немного поодаль от негуса ехала царица Таиту в парчевом уборе Русской царицы, украшенном самоцветными камнями.

*) Абъет—жалоба.

ми. Малиновый шелковый зонтик на длинной палке висел над головой императора и издали обозначал его место. Сзади шла опять толпа ашкеров в белых рубашках и плащах, с ружьями и длинными палками, с пестрыми—желтыми, зелеными и красными значками. И все это бежало, стремилось широким потоком, шумя и крича под неустанные клики покорности: а-ля-ля-ля-ля.

Щит отражает солнце, парча горит, самоцветные камни сверкают. Доброе, полное лицо негуса с черной бородой холодно и только глаза приветливо улыбаются, негус кланяется на все стороны и тихо говорит:

— «Дэхна нү»!..

Даже мое сердце забилося при виде этой картины шествия монарха эфиопской империи. Что же испытала маленькая тихая Терунешь? Куда девалась ее решимость? Я видел только, как и она преклонила колени и исчезла в толпе народа и ашкеров.

Караковый мул Менелика с широкой грудью, украшенной золотым подперсьем, поводя длинными красивыми ушами, не идет, а катит к паперти. Толпа останавливается, Менелик слезает, снимает шляпу и идет в церковь. За ним следуют его расы и начальники. Шум на площади постепенно умолкает. Еще слышны торопливые «мынну, мынну» офицеров, умиряющих солдат, но и они скоро стихают. Чей-то сдавленный крик причитанья и плач раздаются еще долго в глубине толпы... Уж не Терунешь ли это плачет?.. Но и они прекратились. Высокое темносинее небо безмолвно висит над толпой. Золотистые горы отражают лучи и сверкают на горизонте. От высоких смоковниц и бананов ложится густая отвесная тень. Стая голубых, как сталь, дроздов с легким криком перелетает с дерева на дерево.

Из церкви слышны мерные, протяжные звуки. Абиссинское богослужение началось... Сначала это

какой-то нескладный вой. Носовые звуки преобладают, иногда голоса гудят, как кларнет. К ним присоединяются резкие удары барабана, потом звенят бряцала, и струнный инструмент подает свои ноты. Размах мелодии становится шире и веселее. Меланхолические ноты начинают уступать место более веселым, вскоре первые совершенно пропадают, будто капли печальной росы при первых ударах лучей жаркого солнца. Барабаны бьют часто и на несколько нот, звоночки звенят, а мелодия отбивает особый медленный ритм. В двери храма видны священники. Они идут поднимая ноги и одновременно приседая в такт пению. Они обходят вокруг квадратного алтаря, расписанного *al fresco* картинами священной истории. Белый дым кадильниц клубится и тает на солнечных лучах. Лица видны в полутумане; пестро расшитые темные, усеянные золотом и серебром одеяния священников развеваются в полумраке храма. Ритм песнопения становится оживленней, а с ним и танец священников чаще и энергичней. Сквозь звуки голосов, сквозь рокот барабанов и звон бряцал слышен мерный топот ног по земляному полу.

Пение на минуту обрывается. Являются новые священники, а с ними и новая пляска.

Богослужение длится более двух часов. Становится жарко, пот течет градом, отвесные солнечные лучи пекут голову и безжалостно жгут плечи. Пение берет самый частый быстрый ритм, барабаны бьют чуть не дробь, бряцала шумят. Приседая и вскакивая, размахивая руками и кланяясь ходят священники. К их толпе примыкает Менелик, расы и начальники. Топот ног, дикое вскрикивание иногда заглушают мелодию песни. Страшно смотреть на этих людей. Но я протискиваюсь ближе, гляжу и вижу, что потные, утомленные лица сияют восторгом. Вот полное, круглое, обрамленное черной бородкой, лицо царя-царей, добрые и умные глаза сияют неземным блеском, губы шепчут слова свя-

щенных гимнов, а душа унеслась к Тому, в честь Которого много тысяч лет назад в этих же жарких странах царь Давид скакал и плясал перед скинией, слагая вдохновенные псалмы.

Меня охватывает жуткое волнение. Мне кажется, что и на эту черную африканскую толпу нисходит благословение свыше, и благодать Божия светит из их карих глаз. Молитвенное настроение овладевает мною, и я молюсь под безоблачным синим небом, молюсь за свою туманную дождливую родину, за Анию...

Вокруг меня слышны взволнованные возгласы «Георгис, Георгис», темные лица следят за негусом влюбленными глазами, темные губы шепчут слова псалмов...

И вдруг, словно нарочно, к дикому, полному особой прелести абиссинскому церковному песнопению присоединяются мощные аккорды европейского хора. То черные галасы играют на медных инструментах, под управлением русского капельмейстера. Пошленькая мелодия покрывает звуки барабанов и вскрикивания священников, мое молитвенное настроение проходит, но абиссинцы довольны.

На их лицах видны блаженные улыбки, и Менелик и священники продолжают свою священную пляску...

Богослужение кончилось. При криках толпы «а-ля-ля-ля-ля!» негус садится на мула и едет в далекое Геби. Русский посланник, сопровождаемый brave донцами на серых конях, едет рядом с ним. Они быстро исчезают за толпой; я вижу, как они спускаются к Хабане, потом поднимаются на верх, перебравшись через ее русло.

Белые шапы мелькают на далеком горизонте и ползут в разные стороны. Я ищу глазами в окружающей перковь толпе Терунешь, но ее нигде не видно. Величие и блеск императора ослепили ее, и

она не посмела жаловаться на меня. Я уезжаю завтра, что бы там ни было.

Ко мне подходит слуга епископа Аббуны Петроса. Аббуна заметил меня в толпе и приглашает к себе на трапезу... Пойду...

10.

От аббуны Петроса я вернулся домой уже вечером. Утомленная празднеством, Аддис-Абеба спала. Звезды мирно светили на безоблачном небе, очертания предметов в ясном и редком воздухе рисовались безобразными черными пятнами. В хижине моей было темно. Все вещи уже были уложены, выюки заготовлены.

Я зажег фонарь и осмотрелся. Постель и вещи Терунешь были не тронуты, хижина была пуста. Очевидно, она еще не возвращалась. Но мозги мои отяжелели от излишне выпитого теча, голову ломило, и я не стал раздумывать о том, куда могла деваться абиссинка. Слуги спали, и лишь у дверей калитки сонный «забанья»*) окликнул меня. Я прошел к своим ящикам, заменявшим мне постель, лег и скоро заснул тяжелым, пьяным сном. Проснулся я еще ночью. По крайней мере в хижине было темно и звезды глядели мне в окна. Тоска давила мне грудь. Какая-то унылая песня звенела и переливалась за стеной. — Это она и мучила меня во сне, терзала, и не давала покоя. Пел женский голос, сбивался и снова заводил грустную песню. Я прислушался. Слова, перебиваемые трелями и фиоритурами, звучали явственно. Это была песня тоски по чужеземной стране, в которую не может, в силу привязанности к родине, попасть абиссинец. Я слышал теперь явственно каждое слово африканской песни:

*) Забанья — часовой.

Доро энкуляль энжи,
Атуоддем арь ера.
Я москов_агер
Мытууа бахэр лай лиммара,*)

Пела женщина, кончала куплет и заводила его опять с начала.

Я не вытерпел и окликнул: — Кто там?

Пение прекратилось, дверь приотворилась, и в хижину мою вошла некрасивая, изрытая оспой сестра Терунешь—Уоркнешь.**)

— Что случилось? Зачем ты здесь?...

— Проводить тебя, Гета, вместо жены твоей.

— А где же Терунешь?—тревожно спросил я.

Предчувствие чего-то недоброго охватило меня.

— Она в тюрьме, закована в цепи и посажена в тюрьму.

— За что?

— Вчера, когда негус подъезжал к Геби, она бросилась к его мулу с криками: отпусти меня к москочам! Ее схватил Азач Гезау и ее допрашивали. Она опять просилась отпустить ее в Московию и ссылалась на любовь к тебе. По нашему обычаю человек, который хочет изменить своему отечеству, должен быть закован и посажен в темницу, до тех пор, пока ему невозможно уже будет бежать.

— А потом?

— Потом его освобождают. Терунешь послала своего ашкера предупредить меня о своем за-

*) Точная абиссинская песня. Перевод ее:

Любит курица яйца,
А коровье молоко не любит.
Возьми меня в Россию,
В свой заморский дом.

**) Уоркнешь значит: золотая.

точении, и когда я к ней пришла, она просила от ее имени проститься с тобой.

Я был потрясен всем случившимся. Я знал одно: Терунешь допрашивали, она показала на меня. Не сегодня, завтра, даже, может-быть, сейчас придут слуги негуса и заберут меня для допроса. Положим, меня не даст в обиду наш посланник... но... но все-таки—бежать скорее, вернуться к Ане в Россию—было лучшим исходом из всей этой истории.

Уоркнешь, казалось, догадалась о моем душевном состоянии. Она дотронулась до моей руки и тихо сказала:

— Сестра моя не права. Курица любит яйца, а коровье молоко не любит—не может абиссинка желать жить в России. Жаль, что ее заточили, но на все воля Божья и негусова.

Я метался из угла в угол, не зная, что предпринять. В таком положении захватил меня рассвет. Мне все слышались чьи-то шаги, казалось, что вот-вот в дверях хижины появится хитрое темное лицо Азаха Гезау. Первые лучи солнца показались за горами. Слуги мои просыпались и вели мулов на водопой. И вдруг я решил.

— Чуфа, Лифабечу, Алайу! — крикнул я:— выюchte и кормите мулов. Мы выступаем сейчас.

Через четыре часа под отвесными лучами солнца, по узкой и пыльной тропинке быстрым шагом шло пятнадцать мулов. Человек двенадцать оборванных ашкеров, вооруженных берданками, под предводительством белого на карем муле, сопровождали их. Караван спустился к Хабане, поднялся на верх, миновал крутой подъем на гору, у подножья которой росли три громадные смоковницы, и скрылся за уступом горы, направляясь на северо-восток.

Это был мой караван.

Путь от столицы Абиссинии, Аддис-Абебы— до французского порта Джибути на Тихом Океане делится на пять частей. От Аддис-Абебы до Бальчи дорога идет по высокому плоскогорью, перерезанному во многих направлениях ручьями и поросшему высокой травой. Многочисленные абиссинские и галасские деревни встречаются на пути. По дороге видны жители, идущие в Аддис-Абебу, или возвращающиеся из нее. Так тянется путь на протяжении около 90 верст. Затем—крутой каменный спуск вниз—и на расстоянии почти трехсот верст идет знойная Данакильская степь. В двух местах она перерезана широкими реками Кассамом и Авашем, но между этими горными потоками, усмирненными степью, нет ни ручья ни лужи. Потом идет ряд горных кряжей и долин между ними. Звонкие ручьи устремляются вниз, в лощинах вечно зеленеют болота и дремучие тропические леса, с бездной разнообразных пород деревьев, перевитых лианами, с массой птиц, диких коз и обезьян. На вершинах задумчиво шумят перистой листвой кипарисы и туйи с громадными стволами, ниже, там, где влаги становится больше растут бананы, кокосы, гигантские смоковницы и ароматные нежные мимозы. Тысячи пород лиан, серых мхов покрывают стволы и ветви и образуют непроходимую завесу. Громадные бамбуки вытягивают свои стройные стволы, внизу растут папоротники и травы, вычурные цветы цветут здесь зиму и лето, наполняя влажный воздух запахом оранжереи.

Потом на пути встречается шумный Харар—этот Париж Африки с каменными домами и стенами, с самобытной арабско-египетской культурой с памятниками глубокой древности. От Харара на 60 верст тянутся громадные, каменные поросшие лесом, Гильдесские горы, прорезанные звонким и

порожистым ручьем Белауа. На краю их — пограничный камышевый городок с населением из сомалей, абиссинцев, данакилей и арабов—Гильдесса. За Гильдессой на триста верст ряд каменистых гор, песчаных плоскогорий, крутых спусков и подъемов, сухих русл, широких рек, поросших колючею мимозой, верблюжьей серой травой, молочаями, уныло торчащими у песчаных берегов—это Сомалийская пустыня, арена грабежей и разбоев. Она оканчивается у берега моря, и пески ее омыты зелеными волнами Атлантического океана.

На седьмой день пути я со своими слугами и караваном углубился в Данакильскую степь и около полудня расположился биваком на берегу реки Аваша. И вперед и назад видна ровная песчаная степь, поросшая травой и на далеком горизонте окаймленная синеватыми зубцами гор. Эта равнина прорезана провалом. Необъяснимые силы природы раздвинули почву, и две почти отвесные стены дали проток водам. Вода шумит и клубится между громадными валунами, пенится и вдруг успокоившись, вся неровная, покрытая волнением, спускается вниз. Мимозы развесили свои ветви между камней, и трава местами пробивается из голой скалы. Здесь, над рекою навис железный мост французской работы, но им мало пользуются. Большинство караванов идет бродом, и только летом можно видеть мулов, бредущих между железных перил висячего моста.

Я выбрал место за Авашем под тенью нескольких мимоз, разбил палатку и остановился на ночлег. Никогда я не чувствовал себя в Абиссинии так спокойно, как в эту ночь. Аваш — это первый серьезный рубеж, за Авашем пойдут земли раса Маконена, где закон строже, а властитель, живший долго в Италии, гуманнее. Терунешь была забыта. Теплый день сменился прохладной ночью. Где-то ревел осел, да шакалы тянули свой неизменный визгливый концерт. Далеко на горизонте видно

было огненное море: то горела степь, подожженная случайно или нарочно.

Я сидел у палатки, смотрел как весело пылал костер под котелком, в котором кипело и шипело мясо барана—мой ужин. Вдали над горами кротким светом сияли семь звезд Большой Медведицы, и над ними ярко горела Полярная звезда. И казалось мне, что я вижу там, прямо над этой одинокой звездой, город, залитый огнями, полный шума экипажей и людской толпы. И вижу я комнаты в высоком доме, черный комод, накрытый скатертью, зеркало на нем, шкатулки, круглый стол и лампу с гирляндой бумажных цветов на колпаке, и альбом с оторванной медной застежкой, и кипу газет, и русую головку Ани, склонившуюся над книгой. И книга об Абиссинии, и мысли обо мне! И вспоминалось мне стихотворение, давно, давно где-то слышанное:

... Что-то в уютном твоём уголке?

Слышен ли смех, догорают ли свечи?...

Нигде, нигде так не любишь, так не женишь стихов, как в, пустыне, когда сидишь один с глазу на глаз с Богом, и сердце открыто, и сердце рвется, и стремишься в бесконечную даль, к любимому человеку...

Я поужинал, осмотрел костры, расставил чайных и заснул так спокойно, так хорошо, как давно не спал.

Я проснулся довольно поздно. Солнце уже встало, слуги возились с вьюками, мой мул был оседлан. В ожидании я отошел от бивака и залюбовался бешеным Авашем, далью золотистой степи за ним и фиолетовыми горами на горизонте.

И вдруг я увидел какой-то белый предмет, быстро подвигавшийся по дороге.

— Курьер!...—мелькнуло у меня в голове.—Погоня за мной. Но ни курьер, ни погоня не могли состоять из одного человека.*И я стал вглядываться, спустился к мосту, пошел навстречу.

Длинная одежда была по ногам и развевалась на бегу—это была женщина... Это была Терунешь!..

В трехстах верстах от Аддис-Абебы, за Авашем, за степью она нагнала меня. Грязная, запыленная, промокшая от пота рубашка была порвана, исхудалое лицо постарело на много лет. Одни глаза горели диким блеском. В курчавой голове застряли колючки мимозы, пыль припудрила темные кудри. Ноги и руки были темны от ссадин и ран, от ужасных кровоподтеков.

— Иоханнес! Иоханнес!!—вне себя от радости, с мольбою в голосе воскликнула она и кинулась на мосту к моим ногам.—Слава пресвятой Марии и Георгису, покровителю храбрых—я догнала тебя!...

Я гордо скрестил руки. О! если бы в эту минуту я понял, что в этом маленьком темном теле есть душа, и что в эту минуту эта душа полна смятенья и тревоги,—быть может, я был бы мягче. Но гордый европеец смотрел на нее, как на ненужную женщину, которая мешает, как на нелюбимую собаку, которую можно отпихнуть ногой,—и я повысил голос, и осудил эту несчастную, коленопреклоненную женщину.

— Терунешь!—сказал я.—Как смела ты бежать из темницы и нарушить волю негуса? Ты знаешь, что тебе за это будет?!

— О, господин...—тихо простонала она и протянула с мольбою ко мне руки..

— Стоит мне послать тебя с одним из слуг моих к Ато Павлосу в Тадеча-Мелька, и тебя казнят!

— Гета! Ты не сделаешь этого!—кротко сказала она.—Гета, во имя нашей любви... Благородный Гета, ты возьмешь меня с собою!

— Я!?... Возьму тебя?! Мало забот у меня.

— Я буду работать для тебя! Я буду твоим ашкером, но ашкером ты платишь жалование, мне же ты будешь лишь позволять смотреть на себя.

— А дальше?! Да ты знаешь ли, что твой переезд стоит—дороже, чем вся-то ты стоишь!..

— О-о!—простонала Терунешь и закрыла лицо, как бы защищаясь от дальнейших ругательств.

— Да! Я не пошлю тебя к Ато Павлосу, потому что у меня нет лишних ашкеров.

— Гета!.. У тебя есть женщина, которую ты любишь! О, Гета! Во имя ее не говори так... Мне больно это слышать от тебя.

— Ты? Ты смеешь!..

О, Гета! Прости меня!—и она поползла ко мне на коленях и хотела охватить их руками, но я оттолкнул ее и пошел с моста...

— Гета! — раздался ее душу раздирающий крик.—Гета, прости меня!..—Я не оглядывался.

— Гета!—донеслось издали.

Я сажился на мула. Мне надоела эта комедия.

И вдруг какой-то всплеск и необычный стук долетел до моего слуха. Я оглянулся — мост был пуст. Я ударил плетью мула и понесся к берегу: роковое предчувствие какого-то громадного, непоправимого несчастья закралось в мою душу.

Внизу, между скал, в мутных волнах Аваша, трепалось о подводные камни мертвое тело Терунешь...

12.

Прошло полтора месяца. В ясный и теплый декабрьский день пароход „Царь“, плавно рассекая темные воды Черного моря, приближался к Одесскому молу. Все пассажиры столпились на верху у капитанской рубки и внимательно смотрели на открывавшуюся панораму берега. У кого был бинокль, смотрели в бинокль, другие довольствовались кулаком. Яснее становилась линия светлых домов по берегу моря, темные кусты сада на ска-те, местами еще золотые от осенней листвы.

Навстречу неслись лодки и лодочки с более

нетерпеливыми родственниками. Среди них, в пузатой шлюпке, управляемой сухопарым греком в чалме и странного фасона пиджаке, сидела молодая дама.

Но, Боже мой! Неужели эта красивая дама, моя жена, моя Аня?...

Она меня тоже не узнала.

Когда, наконец, пароход ошвартовался у мола и из шлюпок с одной стороны, с пристани—с другой, полезли люди, я подошел к ней.

Она смотрела на меня и колебалась.

— Аня...—тихо сказал я.

— Ты, Ванюша!—воскликнула она и, обливаясь слезами радости и счастья, кинулась мне на шею...

Я не плакал... Я не смеялся... В моем мозгу на секунду встало серое лицо Терунешь с пробитым черепом и страшными вывороченными глазами. И минута счастья была отравлена...

И она, эта маленькая абиссинка, отравляла мне так потом всякую минуту радости, восторга, увлечения... И я все помнил это жаркое утро, волны Аваша и среди камней тело маленькой женщины, которая любила и умерла, любя... И я думал про Аню...

Нет, я ничего не думал! Но мне становилось горько; пошлые готовые фразы: „не я, так другой“, „сама виновата“—не успокаивали меня... И это напоминание об ее смерти было, казалось, мстью несчастной Терунешь!



Готовятся к печати следующие издания:

А. С. Пушкин — „Бахчисарайский фонтан“.

Его же — „Евгений Онегин“.

М. Ю. Лермонтов — Избранные стихотворения.

Н. В. Гоголь — „Вий“ (иллюстр. издание).

И. С. Тургенев — Мелкие рассказы, вып. 1-ый.

А. П. Чехов — Избранные рассказы, вып. 1-ый.

Солодков — „Сказки капитана Гранта“ (для взрослых).

М. В. Варенцов — „Никто“ (сборник рассказов).

Г. Кремлев — „Мельница в лесу“ (повесть).

И. Краснов — „Аска Мариам“ (рассказ).

Е. Коваленко — Стихи, книга 1-ая,

Его же — „Тохтамыш“ (отрывок из поэмы „Москва“ — иллюстр. издание).

• Русские музыкальные портреты

Вып. 1. — А. Зверев — „П. И. Чайковский“ (богато иллюстр. издание).

Вып. 2. — З. Агатиони — „М. П. Мусоргский“ (богато иллюстр. издание).

И. К. Сурский — „Отец Иоанн Кронштадтский“.

Сборник русских народных и цыганских песен (с нотами).

Инж. Крестинский — „Технический прогресс и мелкие предприятия“ (ошибка марксизма).

„Голос инженера“ (журнал).

Дипл. инж. А. Николаевский — „Штукатурные работы — практическое руководство“.

Дипл. инж. Д. Пронин — „Мелиорация — практ. руководство для улучш. сель.-хоз. и лесных угодий“.

Инж. В. Ивановичев — „Ракеты и реактивная авиация“.

Вахтерев — Букварь (богато иллюстр., дополненное и переработанное издание).

Проф. Передольский — История России (краткий хронологический конспект).

Русская хрестоматия, ч. 1 и 2 (младш. и старш. возр.).

Е. Коваленко — „Бунт игрушек“ (стихи для детей).

„Учись считать“ полезная и веселая книжка для малышей.

Находятся в печати и выйдут в ближайшее время:

ЦЕНА

А. С. ПУШКИН. „Капитанская дочка“. 8 м.

ПРОРОЧЕСКАЯ БЫЛИНА. (Как Святые Горы
выпустили из каменных пещер своих
русских могучих богатырей). 7 м.

„У ВРАТ“. Литературно-худож. и общ.-полит.
сборник, вып. 1-ый. 10 м.

„РАЗВЕДЧИК“. Журнал для юношества, № 1. 5 м.

Новости иностранной литературы

О. ГЕНРИ. Цена одного доллара.

Л. И. БЕСТОН. Предатель.

* * * Романы Гитлера.

Ж. МЕРЛЕН. Реванш.

ДЖ. ФРОШЛИ. Шестнадцать ночей
мистрис Орхард. 4 м.

А. И. МИХАЙЛОВСКИЙ. „Соблазн зла“. (Судь-
бы России). 4 м.

КНИЖКА МАЛЫШКЕ. Богато иллюстр. изд. 5 м.

ДЕТСКАЯ АЗБУКА. Иллюстр. издание в 4-х
красках (огранич. тираж на лучшей ме-
ловой бумаге). 15 м.

И. А. ГРЕБЕНЩИКОВ. „Необходимые сведе-
ния о святой литургии“.

Вышел из печати и поступил в продажу

ФЛИРТ ЦВЕТОВ

ИГРА ДЛЯ ВСЕХ

в специальной картонной упаковке.

Цена 10 марок.

Готовится к печати

Альманах для детей младшего возраста

„Вербочки“

БОГАТО ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ ИЗДАНИЕ

Находится в печати и на-днях выйдет в свет.

ХУДОЖЕСТВЕННО ЛИТЕРАТУРНЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ СБОРНИК

„У ВРАТ“

Под редакцией А. И. МИХАЙЛОВСКОГО

Сдан в набор номер 1-ый

журнала для юношества

„РАЗВЕДЧИК“

W. Ziegler
Bücher - Journale - K
MÜNCHEN 27 - Dogenha

Требуются

для распространения литературы
на местах в американской, английской
и французской зонах.

С предложениями обращаться по адресу:
München-Feldmoching DP Lager 1066
Barack 113. Zimm. 17.

ГОТОВИТСЯ К ПЕЧАТИ

III-й выпуск

„НОВОСТИ
ИНОСТРАННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ“